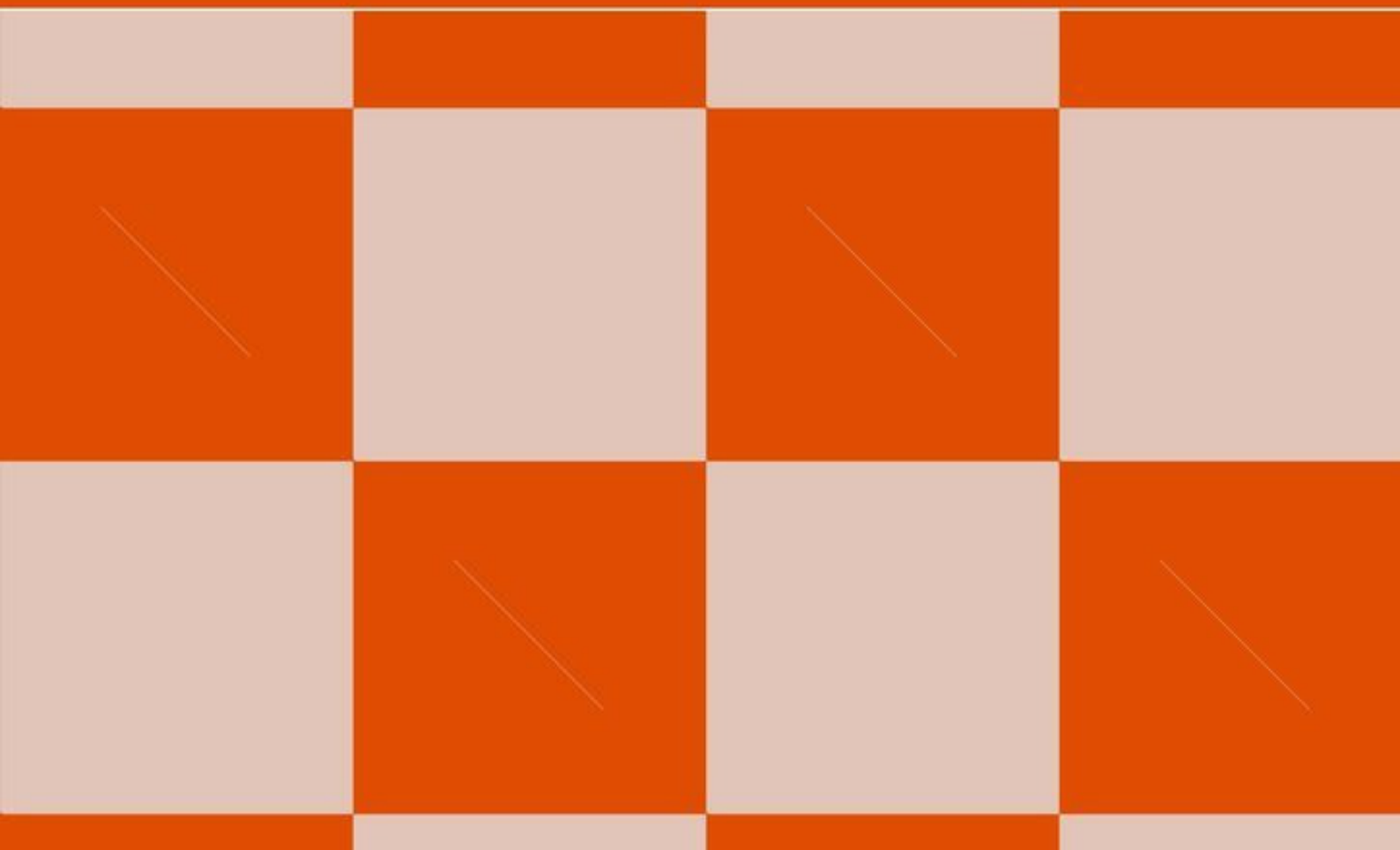


18+ Юрий Меркеев

Кессонники и Шаман

Для любителей магического реализма



Юрий Меркеев

**Кессонники и Шаман. Для
любителей магического реализма**

«Издательские решения»

Меркеев Ю.

Кессонники и Шаман. Для любителей магического реализма /
Ю. Меркеев — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-832757-5

Это своего рода продолжение романа «Трещинка», профессор и культуролог Юрий Бондаренко в 3-й книге о российской современной культуре написал статью «Двери настезь». Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-44-832757-5

© Меркеев Ю.
© Издательские решения

Содержание

1	6
2	7
3	9
4	10
5	15
6	17
7	21
8	26
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Кессонники и Шаман

Для любителей магического реализма

Юрий Меркеев

© Юрий Меркеев, 2021

ISBN 978-5-4483-2757-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

1

Он так страстно мечтал о побеге, так мучительно долго жил с этой мыслью взаперти, тайно страдая от невозможности ни с кем поделиться, что, в конце концов, смирился с тем, что никогда никуда не убежит. Перегорел, сжег в топке жарких мечтаний, *влюбился, женился на этой мысли и родил мертвый плод*. Суббота был одиночка, но для него одиночество не было бегством от больных, скорее – бегством больного. Впрочем, он не сумел сделать даже этого: убежать от людей и спрятаться в самом себе. Не сумел, потому что был болен. Потому что люди, которые окружали его, тоже были больны – не меньше Субботы, а, может быть, и больше. Нельзя больному удрать от больных, невозможно больному полюбить больных так, чтобы соединиться и стать частью *единого*. Даже сострадать невозможно больным, пока сам не станешь здоровым.

Мысль совершить побег из больницы стала его молитвой, внутренним вектором, смыслом жизни. Эту мысль он вынашивал, лелеял ее, с нею ложился в постель, как на брачное ложе, с нею просыпался и засыпал. С этой мыслью он принимал из рук медсестры пилюли, глотал их, залезал в подводную лодку и погружался на глубину. Сны тяжелые, свинцовые, холодные, как у подводника, хапнувшего кессонную болезнь. Утром подводная лодка всплывала, Суббота пил тошнотворный чай, шлепал в тапочках, тяжелых, как гири, в туалет, притворялся здоровым, врал Сан Санычу, лечащему врачу о том, что знает, что болен и мечтает об исцелении, натянуто улыбался, пошло шутил, а во рту у него была полынная горечь от всего, что его окружало. Тошнота. Кругом одна тошнота... Он смотрел снисходительно на мерзкие проделки санитаря Василия, похожего на большую черную бородатую женщину – только потому, что Василий часто не замечал нарушения дисциплины со стороны больных, а если бы заметил, то многие пациенты первого буйного, включая Субботу, давно оказались бы в наблюдательной палате под двойным «контролем» галоперидола. Суббота врал самому себе и окружающим. Брачное ложе, которое он делил с *мыслью*, не родило *плода*. *Его мечтательная беременность идеей побега оказалась ложной*.

И тогда Алексей перестал принимать лекарства. Когда к нему приближалась медсестра с тележкой, усеянной стаканчиками с водой, пилюлями и записками с адресатами, он улыбался Елене Прекрасной, улыбался женщине, которую хотел провести, послушно открывал рот, принимал из ее тошнотворно пахнущих рук три красно-белые капсулы, делал вид, что проглатывает их, запивал водой, вытаскивал язык для осмотра. Елена Сергеевна убеждалась, что лекарство проглочено и увозила тележку дальше. А Суббота вытаскивал из-под кровати тапки-блины и летел в туалет, и с помощью двух пальцев выворачивал все содержимое желудка наружу. Ночь и день были отыграны у неволи. Теперь не было подводной лодки, кессонной болезни и мерзкой холодной серой пелены. Наступала иная реальность, в которой *мертвый плод воскресал*. Мечта о побеге расцветала в ярких красивых оранжево-мандариновых снах, где явь и фантазия менялись местами, уступая друг другу с церемониальной вежливостью царственных особ. Шизофрения... Диагноз, с которым Алексей Иванович Суббота попал в очередной раз в психоневрологическую клинику номер один, звучал именно так: шизофрения параноидального круга. «Эс-цэ-ха», как выражались в присутствии пациента мудрые бородатые доктора, пытаясь обмануть латынью доверчивых больных, иногда не понимая того, что больные не так просты, и умеют притворяться и обманывать врачей. Вечная диалектика, единство и борьба двух противоположностей... Суббота все понимал. И по-прежнему жил мечтой о побеге – теперь с другим вектором и другими снами. Алексей не позволит больше никому из докторов отрезать свою голову и сажать ее в рассол чужих мыслей, чтобы эта голова начала извергать прописные истины. Хватит! Теперь он сам Господин Субботы. Он Человек!

2

Первая клиническая и в самом деле напоминала нечто реликтовое, выбравшееся на сушу со дна океана. Не столько подводную лодку, сколько остов выброшенного на берег древнего корабля – остов, покрытый ракушками и зеленой плесенью. Забытый Богом отсек спасшегося от всемирного потопа ковчега праведного Ноя. Забытый, потому что Бог, спустившись в ад, проглядел первую клиническую, притворившуюся водорослями и останками рыб. Видимо, долго лежала она на дне ада, что даже в глубоководный телескоп Бог Любви не сумел ее разглядеть в слое темного ила.

Больница располагалась в низине, на окраине города, в пойменных лугах Волги, которая иногда разливалась и затапливала подвалы психотерапевта Виллера. В них Генрих Янович лечил частным образом богатых невротиков с помощью гипноза, избавлял толстосумов от многочисленных панических атак, неврозов навязчивых состояний и страха... о да, главное – страха, который пропитывал жизнь бизнесменов с головы до пят. Страх липкий, тревожный, отвратительный, метафизический... страх, который нужно было лечить с помощью «отрезания голов и помещения их в рассол чужих мыслей». Никогда еще у Генриха Яновича не было столько благодарных пациентов. Не только мужчин, но и женщин, у которых вслед за мужьями развивались страхи. Тут был иной страх – земной, приземистый, тяжелый. Иногда для лечения хватало одного сеанса погружения в гипноз. Иногда – резкого окрика и шлепка по заднице специальной войлочной тапочкой, о которой уже слагались легенды. *Виллер так силен, что ему достаточно шлепнуть пациентку по заднице волшебной тапочкой.* А подвалы, которые ему бесплатно копали «зеленые больные», иногда затапливало, и тут уже не хватало Виллеровского волшебства. Первая клиническая была далека от герметичности подводной лодки – она текла.

А рядом с ней ступенью повыше белел новеньким кирпичом крупный водочный комбинат Зыкова, еще выше сверкала церковь. И все было, как в государстве Российском, – шутили больные: наверху Бог, чуть ниже водка, а на самом дне сумасшествие. Шутили и не боялись – что возьмешь с дурачков? Русская троица, говорили они: водка, церковь и казенный дом.

Зданию больницы было больше ста лет. Раньше тут располагалось поместье какого-то известного земского деятеля, после революции – психушка. В советское время в доме скорби держали диссидентов на заочных диагнозах: посмеют дернуться на Запад, а у них, оказывается, шизофрения. Суточно-параноидальный синдром. Расхожий диагноз имперского времени. Местный писатель Шаманов, книги которого находились в библиотеке первой городской, когда-то лежал за свои *слишком* свободные измышления в этой больнице с вышеозначенным диагнозом в буйном отделении, где содержался Суббота. Алексей Иванович обожал читать книги Шаманова, и когда мозг воспринимал печатные буквы, то нередко видел, как с пожелтевшей от времени бумаги стекало соленое, как слезы писателя, миро: *«Есть люди, – писал Шаман, – похожие на глубокие подземные лабиринты. Чем дальше погружаешься в них, тем больше возникает загадок и тайн. Попадают в их недрах шахты, наполненные странными существами, дремлющими до той поры, пока инструмент исследователя не коснется их демонической сути. Попадают красивые незамутненные источники, озера с кристально – чистой питьевой водой, целые „байкалы“. Встречаются дурманящие болота с гнилостными испарениями, от которых кружится голова и путаются мысли. Но случаются и дворцы из чистого золота и алмазов. В таких дворцах чувствуешь себя легко и свободно, словно в сказке, великолепие красоты услаждает взор. Когда общаешься с такими людьми, поневоле испытываешь глубокое уважение, ибо люди эти – легенда, их жизнь туго вплетена в узор мироздания, их опыт – всегда раскрытая книга. Кому посчастливится прочитать ее, тот найдет в ней ответы на все вопросы».*

Да. Так было. Так и есть. Так было сорок лет назад, когда жив был писатель Глеб Иванович Шаманов, так есть сейчас. Умер *Шаман*, по официальной версии, от раковой опухоли. По слухам же, был до смерти залечен в первой городской. Об этом не говорили люди, но стены здешние видели все. По ночам Суббота иногда встречал на отделении сухонького седого старичка, в котором узнавал любимого писателя, часто заговаривал с ним о сокровенном. С кем еще можно было поделиться тайной, кроме покойника? Беседы прерывались Еленой Прекрасной, которая торопилась увести Субботу на тропу, где отрезаются головы и сажаются в рассол. Старик, разумеется, удалялся. В одной из книг он досконально описал быт больничного ада. «*Кажется, ад*, – писал он. – *Кажется, самое дно ада. Но прислушаешься и... чу! А снизу-то кто-то стучится?! Значит, внизу еще один ад, еще более мерзкий, чем этот*». Все так. Было и есть. Возможно, и будет.

3

Больница была обнесена глухой кирпичной стеной с колючей проволокой наверху, задекорированной под желто-зеленый плющ. Все было продумано до мелочей. Каждый цвет нес в себе свою энергию, свой отпечаток. Зеленый – спокойный, умиротворяющий, чуть теплый. Желтый – горячий, с легким предупреждением об опасности, приятный, впрочем, на ощупь и вкус, как спелое яблоко или сладкий апельсин. Красный бил по глазам, означал огонь и опасность. Не тронь! Будет худо.

Внутренний дворик психбольницы был всегда до чистоты убран. Трудотерапия. Бесплатная рабочая сила из числа безропотных *зеленых* и *желтых*. Да, так было и есть. Три категории пациентов: *зеленые*, *желтые* и *красные* – в зависимости от цвета крохотного треугольника, приклеенного к лицевой стороне историй болезней. Кто был помечен красным треугольником, считался социально-опасным, склонным к побегу, к любому противоправному действию. Мог «включить в свой бред» любого из врачей или санитаров и отомстить с особой жестокостью. *Красных* усиленно охраняли, не выпускали на улицу ни под каким предлогом. Только форточка в зарешеченном окне туалета первого буйного отделения была той самой «трещинкой», про которую известный поэт сказал, что она может стать «лазейкой на волю».

Зеленые и желтые работали дворниками, подсобниками в слесарно-столярных мастерских, их допускали помогать готовить и разносить обеды. Иными словами, им доверяли, как пастухи-пастыри доверяют своим овечкам.

Красным не только не доверяли, но и стремились выведать все самое сокровенное, называя «тайное» бредом, который необходимо было раскрыть в целях общественной безопасности. Амитал-кофеиновое растормаживание, «сыворотку правды» берегли для таких «скрытников», каким был Суббота. Но Алексей был хитрее даже химии. Он знал, как и когда ему предложат попить в кабинете Сан Саныча «кофейку» и поэтому всегда носил в кармане кусочек сала. Если его проглотить перед экзекуцией, то действие «растормаживания» могло не произойти или произойти с большой задержкой. Только от уколов нельзя было ничем защититься. Суббота пасовал перед химией, введенной напрямую в кровь.

4

Однажды *покойник* появился в палате Субботы днем, когда больница варилась в собственном соку весеннего безумия, как в скороварке с запломбированным выпускным клапаном. Того и гляди взорвется и обдаст слизью общего сумасшествия высокие потолки и стены казенного дома. Вырвется лава наружу и обожжет. Такое не раз случалось. Весенние бунты напоминали извержение вулканов. Какой-нибудь один обитатель первого буйного начинал цепную реакцию, которая моментально распространялась по всему отделению, вспыхивали стихийные мятежи, которые давились самым жестоким образом: смирительные рубахи на зачинщиках, наблюдательная палата и галоперидол... много галоперидола. Или шоковая терапия.

Если *инсулиновая*, то со временем больной распухал, глаза становились похожи на стеклянные пуговицы, а тело на мешок, наполненный водой и жиром. К концу инсулиновой терапии глаза превращались в щелки, а больной не мог передвигаться самостоятельно. Он только лежал.

Катализатором к бунту могла послужить какая-нибудь ерунда, к примеру – легкомысленная передача по телевидению, которую администрация больницы по цензурному недогляду позволила посмотреть больным. Телевизор на отделении был подвешен под самый потолок в прозрачном кубе из оргстекла – так высоко, что его не сумел бы достать в прыжке даже Ванька Длинный по прозвищу Дон Кихот, шизофреник и спекулянт из первой палаты. Длинный был из *хиппарей-семидесятников*, с помощью мамы-санитарки выхлопотал себе диагноз «клептомания на фоне шизофрении», всю жизнь воровал и кололся, курил анашу, а когда его задерживала милиция-полиция, то из суда Ваньку Длинного сразу же направляли в психушку, в которой до сих пор трудилась его престарелая мать. Длинный мог достать водку, наркотики, чай. Санитары, которые занимались таким же «бизнесом» терпели конкурента, но стремились *подгадить* при случае. Выживавшая из ума санитарка, мама Длинного, была уже вне авторитета.

У телевизора больные собирались по выходным дням. Сначала им разрешали смотреть новости по центральным каналам, затем быстро поняли, что новости могут оказаться взрывоопаснее любого «художественного» боевика или триллера с кровавыми разборками, поэтому цензурная комиссия во главе с Виллером позволила смотреть только один канал – «Культура». Чаще всего включали унылые и длинные «портянки» о классической музыке или о художественных творениях великих живописных мастеров. Но и тут было не все так гладко. Когда стали показывать полотна французских импрессионистов и представителей современной американской школы живописи, пациенты первого буйного чуть не ходили на головах, узрев кусочки обнаженного женского тела.

В массовых культурных мероприятиях Суббота участия не принимал. Он держался особняком и старался быть как можно неприметнее для персонала. Так было легче вынашивать план побега.

Больше всего он не мог терпеть так называемые «сводные танцульки» с женщинами из третьего отделения, которым заведовал Виллер. Для маститого доктора это был очередной эксперимент. Для больных – испытание, издевательство над живой плотью. Кое-кто даже умудрялся влюбляться и страдать. Женщин раз в месяц приводили в красный уголок под конвоем санитарок. Включали музыку, пары соединялись, за ними пристально наблюдал конвой, потом мужчин и женщин разъединяли, кого-то приходилось силком оттаскивать. Вопли, крики, рыдания. И высокий, как у пастора, голос Генриха Яновича:

– По существующему законодательству никто из вас не имеет право жениться или выходить замуж. Потому что у каждого из вас есть опекуны. Только они вправе решать ваше будущее. Зарубите себе на носу. Шизофрения передается по наследству.

В тот же вечер по отделениям разносили компот с бромом, успокаивающим сексуальные позывные и делающим весенние сны серыми, унылыми, зимними, как сны кессонников на подводной лодке.

Впрочем, нравилась Алексею одна девушка из третьего отделения. Звали ее Вероника. Лечилась от депрессии. Глаза у нее были особенные: многоцветные, радужные, веснушки лепились по всему кругленькому белому личику. Все ее лицо словно протестовало против того диагноза, с которым она лежала в третьем женском. Она была скромна, молчалива, ни с кем не танцевала, а приходила в первое мужское, видимо, за компанию или от скуки. Суббота приметил ее давно и вскоре уже с удивлением наблюдал за собой, как Вероника стала проникать его сны – редко, но явственно, и всегда в ароматных апельсиново-оранжевых грезах.

Шаман явился в палату к Субботе одетым в какое-то больничное тряпье, с веревкой на шее вместо галстука. Старик беззвучно смеялся, и седая борода его *смеялась* вместе с ним. Он поманил Алексея за собой. Субботе показалось, что покойник был пьян.

– Пойдем на Бульвар Грез, поболтаем, – предложил он, оставляя на тумбочке у Субботы одну из своих книг. – Ты ведь хочешь убежать отсюда, не так ли?

Бульваром Грез писатель называл длинный и узкий коридор, растянувшийся вдоль всех палат, по которому денно и ночью бродили пациенты. В палатах оставались обессиленные, старые или какие-нибудь особенные шизофреники, например представители редкой эмбриональной шизофрении, которые всегда, молча, лежали на постелях в формах человеческих эмбрионов, и, кажется, всеми правдами и неправдами мечтали залезть снова в утробы матерей, чтобы только не родиться.

Заметив седобородого старичка с веревкой на шее, санитарка Глафира Сергеевна набросилась на него.

– Опять покою никому не даешь, девятая нехорось! – крикнула она, замахиваясь скрученным в узел мокрым вафельным полотенцем. – На кой ляд опять пришел баламутить больных? Сколько лет ты уже *там* находишься, а покою так и не обрел. И галстук на шею напялил, будто бы тебя тут повесили. Брехун. То-то тебя, видно, Бог не принимает. А я вот схожу в Сергиевскую церковь и святой водички запасу. Специально для тебя, паразит. Опрыскаю по всему отделению, чтобы висельники, вроде тебя, и носу не показывали. А ты, Суббота, не слушай его. Он тебе всяких небылиц натреплет. *Писака* же! – Она булькнула смешком, потом затряслась толстая плоть ее, и гулкий хохот прокатился по отделению. – Брешет всем, что его в нашей больнице закололи насмерть. Не верь покойникам. Видишь, его *туда* не хотят принимать?! Что зенки бесстыжие вылупил? – надвинулась тетя Глаша на Шамана. – Десятая нехорось!

– Пойдем поскорее от этой бестии, – шепнул писатель и увлек Субботу дальше в толпу людей. – Уж сколько лет прошло, а у вас ничего не поменялось. Те же грубые санитарки с вафельными полотенцами, те же врачи, для которых мы находимся на другой стороне баррикады. Меня кололи такой дрянью, что я сам готов был в петлю полезть. Сняли. Добренские санитары, мать их! Срезали.

Бульвар Грез. Десятка три всклокоченных возбужденных мужчин в выцветших красных вельветовых пижамах с неряшливо нарисованной хлорной единичкой на уголках карманов. Лица желто-серые, перекошенные гримасами безумия. Ожившие персонажи полотен Питера Брейгеля или Эдварда Мунка. Среди них, впрочем, несколько нормальных, даже благообразных лиц. Молоденький симпатичный парень – «*юноша бледный со взором горящим*» – студент университета Яшка, укусивший нечаянно во время осложнения после «свиного» гриппа кроличью шапку и теперь все время отплевывавшийся... вот уже год. Плавный и задумчивый шизофреник Курочкин, художник, разможивший два года назад кому-то из соседей по дому голову бронзовой статуэткой Будды под воздействием «голосов». Зеленые стены вдоль Бульвара Грез сплошь усеяны его прекрасными картинами. В них и радость, и горечь, и тоска.

И много-много счастья. Странный тип. Приходит в больницу сам два раза в год. Единственный шизофреник из буйного отделения, которому позволительно выходить на уличные работы.

– Чтобы бежать, нужно ясно представлять, для чего тебе это нужно, – продолжал Шаман. – Свобода внешняя нужна только тому, кто не свободен внутренне. Однако здесь все нацелено на то, чтобы отнять и внутреннюю свободу. Поэтому я помогу тебе. Но при одном условии. Необходимо бежать ради какой-то большой идеи. Запомни, духовный мир так плотно стянут изнутри, что капля зла может уничтожить целый город. И, напротив, капля милосердия может спасти весь мир. Я хочу, чтобы твой побег был той каплей милосердия, которая поможет спасти мир. Я расскажу тебе все. Когда и что нужно сделать. Твоя задача – сохранить нашу тайну от грязных инструментов Замыслова и Виллера. Психиатрия была и есть орудие усмирения.

– Я согласен, – ответил Суббота.

– Когда меня упекли в психушку, я знал, какую свободу хотел. Но теперь? У вас бесплатно есть та свобода, за которую мы страдали, готовы были умереть. Но у вашего поколения отняли нечто большее, дав такую свободу, – он усмехнулся, оголив совершенно беззубый рот, – от которой теперь не знаешь, куда и бежать. В Америку от такой свободы не убежишь. Искать прибежище нужно только в своем сердце. В какой-то степени я завидую вашему поколению. Теперь вы можете пострадать за настоящую свободу, а не за ее призрак. Мы были наивны и напоминали одного французского философа, который сказал, что он будет страдать даже от запрета посетить страну, в которой он и без того бывать никогда не захочет. Вот такая жажда внешней свободы была у нас. Мы готовы были драться за одну эфемерную идею свободы перемещения. Какая чушь! Любовь выше свободы. Но тогда я этого еще не знал, – печально прибавил Глеб Иванович. – Да. Нет никакого противопоставления любви и свободы. Свобода от любви – это бред сумасшедшего.

Проходя мимо зеркала, запакowanego в броню оргстекла, Алексей на мгновение задержался, чтобы привести в порядок всклокоченные рыжие волосы. Позади уже напирала. Люди шли живой дергающейся цепью всегда в одном и том же направлении против часовой стрелки, и, если кто-то тормозил толпу, пациенты начинали роптать. Суббота грубо толкнул локтем Кубинца, маленького темноликого человечка, который был заводилой почти во всех драках, однако тот, увидев Шамана, боязливо подобрался, кивнул головой и тихо прошмыгнул мимо Субботы. Другие также безропотно принялись обходить Алексея, который внимательно изучал в зеркале свое лицо.

– Жизнь дала трещину в районе жопы! – раздался вскоре вопль Кубинца. – В блицкриг играют только немцы. До мировой революции остался один плевок.

Кто-то в цепочке захохотал. Кубинец с самого утра наедался всухомятку чаю в туалете, запивая его водой из-под крана, а потом ходил «на бодрячке» весь день, извергая шизофренические истины. Отрезанная голова, помещенная в рассол собственного сумасшествия. Шустрый пятидесятилетний старичок, который возомнил себя Фиделем Кастро и грозил всем породить новую мировую революцию.

– Жизнь дала трещину в районе... – уже гремело впереди толпы. – До мировой революции один плевок.

Движение на Бульваре Грез нарастало. Алексей с неудовольствием окинул взглядом свое небритое лицо с темными и запавшими глазами и худобой, связанной с неестественными процедурами промывания желудка, которые приходилось делать иногда по два раза на дню. «Нужно будет попросить Елену Прекрасную записать меня к пятничному парикмахеру», – подумал он и двинулся вслед за больными. – «Выгляжу, как сумасшедший. Кандидат философских наук».

Если кто-то из пациентов сбивался с ритма и начинал движение вспять, толпа могла не просто оттеснить его, но и потрепать изрядно.

Впереди Субботы плавно вышагивал художник Курочкин. Его высокая сутулая спина двигалась размеренно, как у «корабля пустыни». Курочкин родом был из Узбекистана, а люди, которые приезжали оттуда в Россию, бросались в глаза в первую очередь своей размеренной походкой. Алексей пошел медленнее.

– Что от тебя хочет Замыслов? – осторожно поинтересовался Шаман у Субботы.

– Не знаю. Впервые я попал сюда еще в детском возрасте. Взрослым и медикам показалось странным, что я могу отгадать карту, положив на нее ладонь, что я слышу, как переговариваются крысы в погребке, вижу в небе призрак гамельнского крысолова, узнаю разговоры за стеной, а иногда могу предсказать будущее. Позже я учился в университете на философском факультете, но и там мне было трудно. Я прочитывал мысли студентов и студенток, – он усмехнулся, – иногда до того скверные, что не мог не вмешаться и не высказать все, что думаю. Наивный и гордый чудак. Видел чужие мысли, а не видел свои. Они были такими же мерзкими, как и те, которые я стремился осудить, вытащить на поверхность публичности. Горе мне, не увидевшему бревна в своем глазу, но зато смело кидающему вытаскивать занозы в чужих глазах.

Дальше – больше, – продолжал Суббота. – Мне удавалось постичь сущностную структуру слов и букв. Я не просто читал текст, а видел и осязал каждое слово. У некоторых были свои запахи и цвета. Я защитил кандидатскую диссертацию в двадцать пять лет, начал писать докторскую. И тут – божий промысел! Меня пригласили поучаствовать в предвыборной кампании одного местного олигарха, который захотел стать депутатом государственной думы. Я возгордился. По его просьбе предсказал, чем закончится кампания и посоветовал не тратить миллионы. Это был Зыков, хозяин водочного комбината. У подлеца хорошие связи в администрации города и больницы. По его протекции я нахожусь здесь уже пятый раз. Мне поставили параноидальную шизофрению. Лечат. И хотят, чтобы я стал одним из толпы. Такой же человекоугодник, словоблуд и трус, как большинство. Но я дал самому себе клятву убежать из больницы на волю. Никому не позволю калечить себя. Они научились мягко лишать людей своего «я». Не хочу им позволить это. Мне нужна не только голова, но и сердце, которое будет одним целым с головой.

– Все так, – улыбнулся писатель. – Все так. Так было, есть и так будет. Они хотят отнять у тебя свободу, главную свободу, которая есть у человека – свободу мысли. Тебе необходимо бежать. Я помогу тебе. На моей памяти из первого буйного было два побега. Один организовал убийца Вагин, который притворился поэтом и писал тут стихи в тетраточку, а сам вынашивал план убийства Елены Троицкой, бывшей заведующей мужским отделением. Она была с ним очень ласкова, наивная докторша. Позволяла писать стихи и заниматься рукоделием. Вагин сделал из алюминиевых ложек подобие трехгранного ключа, которым открываются двери отделения. Ночью совершил побег, подстерег Троицкую во время вечернего обхода и двинул из-за угла в темноте по голове куском металлической трубы. Его вскоре поймали, конвоировали в спецбольницу под Питером, а Елену Троицкую отправили на заслуженный отдых. Проглядела шизофреника, который включил ее в свой бред.

В другом побеге участвовал и я. Слесарь, лечившийся от белой горячки, приготовил нам трехгранный ключ. Ночью мы напоили вином санитаря, он благополучно уснул, медсестра спала у себя в сестринской. Нам оставалось лишь открыть две двери на выходе из отделения, одну за другой, которые вели на свободу. Одну дверь мы открыли, ликованию не было предела, а вторая почему-то не поддавалась. Давили мы все по очереди ключом вниз, жали с силой, ключ даже погнули, никак не поддается. Сели у порога и заплакали от обиды. А потом проснулся санитар и поднял тревогу. Нас заперли в наблюдательной палате и вкатили каждому по горячему уколу. Потом было следствие, разборки, меня хотели отправить в спецбольницу тюремного образца. Обошлось. Но суть-то в чем? Мы ж, наивные, считали, что двери непременно открываются в одну сторону *нажатием вниз*. А заведующий нашим отделением, хитрющий Семен Карлович сделал ставку на наше *благоразумие*. И точно угадал. Первая дверь откры-

валась нажатием ручки вниз, а следующая за ней – наоборот, нажатием вверх. Вот на этой маленькой психологической шпонке и попались. Поэтому когда задумаешь побег, помни, что мысль твоя должна играть не по общепринятым правилам. Она должна быть яркой, сильной и не стандартной, она не должна принадлежать толпе. Мысль исключительная, наиглавнейшая и тайная, – патетически закончил он.

Суббота вдруг почувствовал спиной, что их подслушивают, резко обернулся и уперся взглядом в ухмыляющегося Кубинца, который незаметно пристроился позади и шел след в след осторожно, как хитрый лис, и прислушивался к разговору. Самопровозглашенный Фидель и не думал смущаться, когда его «застукали».

– Расскажешь? – грозно нахмурился Алексей и протянул кулак.

– Я тоже хочу бежать, – прошептал безумец. – Я все обдумал. Нужен бунт. В одиночку всех переловят. Бунт. Как в революцию. Бунт на корабле. Свержение власти и свобода. Тогда они не смогут предъявить каждому в отдельности. А бунт можно легко разыграть. У меня есть на примете парочка «наших», которых не расколется ни Сан Саныч, ни Виллер, ни американская разведка. Они помогут организовать побег.

Кубинец вдруг снизил голос до шепота, пропустил вперед себя «юношу бледного со взором горящим», указал на его спину глазами, как бы говоря, что студент работает на Сан Саныча, потом, притворяясь полным идиотом, завопил: «Жизнь дала трещину в районе ж...! В блицкриг играют только немцы. До мировой революции остался один плевок!»

Суббота посмотрел на Шамана, чтобы узнать его мнение, но покойник, сделав гримасу недоверия, исчез, растворившись среди больных.

5

Наступил март. Он возник не из календаря, о котором в первом буйном многие даже не знали. Он появился из воздуха, как призрак. В больнице обо всем новом сообщали призраки, так уж было заведено. Вот и призрак марта появился вместе с теплом и лучами весеннего солнца. Эти лучики проникли даже туда, куда не сумел пробиться в глубоководный бинокль взгляд Бога Любви, когда в аду не заметил отсек Ковчега Ноя.

Тетя Глаша исполнила свою угрозу, и Шаман пропал. Санитарка притащила из Сергиевского храма целое ведро освященной воды и опрыскала ею все углы и стены первого буйного отделения. Хотела и в туалете святой водой распылить, но побоялась. Однако книжка писателя оставалась лежать на тумбочке Алексея Субботы, с закладкой не на том месте, где описывался быт психбольницы, а на новой главе, в которой писатель становился *поэтом* и описывал первую влюбленность.

Теперь, когда Суббота брал в руки книгу с пожелтевшими от времени страницами, уже не стекало соленое, как слезы автора, миро, а изливался сладкий нектар любви. В таком изобилии, что Алексей едва успевал подставлять под источник свою алюминиевую кружку, и с жадностью пил его. И с каждым глотком в воздухе звучало женское имя Вероника. Вероника... Ника... Милая скромная девушка с радужными глазами, придумавшая себе депрессию. И надо ж было ей появиться именно в марте в разгар апельсиновых оранжевых снов; именно тогда, когда талые воды слегка подтопили психотерапевтические подвалы Виллера, обитые толстым слоем зеленого войлока. Звукоизоляция. Зеленый цвет – цвет тишины и покоя. Была ли Вероника в этих подвалах и подвергалась ли гипнотической магии Генриха Яновича? И что могла рассказать эта чистая девушка матерому доктору, психиатру?

В подвалах стала сочиться вода, и на время сеансы гипноза были отложены. И тогда стали сочиться влагой души самих пациенток. Женские души, прекраснее которых ничего нет. Их объела смутная и радостная тревога. Март! Никакой Генрих Янович со своими гипнотическими уловками, никакой Замыслов с химией, никакая Глафира Сергеевна со скрученным мокрым узлом полотенцем, даже ведра освященной воды не могли уничтожить весну в том виде, в каком она пробуждала страсти.

В марте Суббота стал блуждать по лабиринтам своих снов, ища выхода. Он был не один. С ним была девушка с прекрасными радужными глазами и веснушками, разбросанными по нежному овалному лицу. Он брал ее за руку и вел на вершину какого-то сияющего холма, указывал вверх на солнце, они готовы были взлететь, как птицы, но все обрывалось высоким пасторским голосом Генриха Яновича:

– Куда же вы, дети мои, бежите от своего спасения? Вам нельзя жениться и выходить замуж. Нельзя влюбляться и рожать детей. Потому что у шизофреников дурная наследственность, и могут родиться больные дети.

Алексей захлебывался от безысходности и плутал по аллеям сна, пытаясь найти выход. «Трещинка – это не дефект, это лазейка на волю». Где эта трещинка? Ему нужно было отыскать ее во снах, потому что сны стали явью после того, как он перестал принимать пилюли. Нужна была *мысль* – яркая, дерзкая, оригинальная, сильная, о которой ему говорил и напутствовал Шаман.

Теперь Вероника сопровождала его повсюду. Фактически она весь день безвылазно находилась в третьем женском отделении, корпус которого был в самой низине больничного двора. А Суббота, опьяненный книжным нектаром любви, видел ее на утренних и вечерних обходах врачей, она улыбалась ему забавной улыбкой из-за плеча Сан Саныча, игриво морщила носик с веснушками, строила за спиной важного доктора рожки и смеялась так, что вокруг оживали глиняные птички – поделки больных, – и носились по отделению ласточками, синич-

ками, стрижами. Он видел ее сидящей напротив себя в столовой во время обеда в те минуты, когда другая Вероника делила трапезу со своими соседками по палате. Ночью милая девушка являлась пожелать ему приятных снов и тут же входила в эти сны долгожданной и любимой гостьей. Она была изображена на картинах художника Курочкина и улыбалась Алексею, когда он бродил по Бульвару Грез. Вероника умудрилась проникнуть даже туда, куда девушкам путь был заказан – в душевую кабину санобработки, в котором нанятый с воли брадобрей стриг всех желающих; где санитар Василий раздевал пациентов до «сатиновых желез» и направлял струю горячей воды, а потом подозрительно долго разглядывал обнаженных мужчин, проверяя их на наличие чесотки или вшей. Вероника проникла на единственный островок свободы, где Кубинец пел гимны мировой революции, а Ванька Длинный обстрипывал свои сомнительные коммерческие дела, – в туалет, в котором была открытая форточка, служившая и почтой, и телеграфом, и пересылочным пунктом для пациентов первого буйного. Через форточку зарешеченного окна выбрасывалась леска с грузилом – «конек», и в заранее обговоренный час с воли присылалась посылочка: кому-то нужен был чай, сигареты, водка, наркотики. Кому-то еда или деньги.

Вероника была везде. Она была перед глазами и внутри его сердца, он не мог сделать шаг, чтобы не заметить скользнувший лучик ее золотистых волос. Чтобы не насладиться ее игривой озорной улыбкой, которая меняла пространство: делала его пяти или десятимерным, и в этом пространстве оживало все мертвое, даже созданное человеческими руками наполнялось животворящей энергией и воскресало. И Суббота понял, что он влюбился в девушку, которую видел всего три раза. Влюбился в олицетворение женского начала, как в апрель или март, в весну или солнце, в блудницу Раав или праведную Руфию. Он был свободен и не свободен одновременно, но если ему было суждено породить сильную и ясную *мысль* для побега, то Вероника была, скорее окрыляющей музой, нежели приятным бременем. Есть бремя и крест, который ведет и напутствует, но не тянет вниз своими скорбями. Есть счастье в чистом виде, без примеси пепла и сокрушения. Это счастье любви.

6

Суббота очнулся от того, что его кто-то тряс за плечо. Была ночь. Луна проникала сквозь зарешеченное пространство палаты, соединяясь с фиолетовым ночным освещением больницы. В этом полумраке голубизной сверкали выпученные глаза маленького черного человека, который улыбался щербатым и ржавым ртом и протягивал Алексею пригоршню чая. Это был не просто жест доброй воли. Это был знак уважения. Алюминиевая кружка на тумбочке была предусмотрительно наполнена водой из-под крана в туалете и уже не пахла нектаром любви.

– Закинь на кишку, братишка, легче будет, – добродушно проговорил Кубинец, высыпая чайники на листок бумаги. – Потом тему важную перетрем.

Суббота потянулся, зевнул, прислушался к спящему отделению: кто-то обильно стонал, кто-то кричал во сне, кто-то ругался с призраками, которых здесь было так много, что больные путали призраков с пациентами, а призраки не узнавали *своих* и набрасывались на пациентов; кто-то грубо храпел, вероятно, под воздействием «кессонных таблеток».

Слышался подозрительный шепоток, раздававшийся со стороны ночного поста санитаров. Опять «бородатая женщина» Василий вел разговорчики с кем-то из больных, готовых уединиться с санитаром в душевой кабинета санобработки и получить за *это* порцию веселящих таблеток или пачку сигарет.

Алексей свернул кулек из бумаги, высыпал чайники в рот и запил их водой. Чай на отделении заваривать запрещалось, потому что розетки с током были предметом повышенной опасности; розетки были вынесены из первого буйного за двойные двери в коридор или кабинет ординаторский, медсестринский, вещевого.

– *Василиса* занят. Можно потрепаться, – продолжал Кубинец, сидя на корточках. – Лучше не здесь. Тут могут услышать. Пойдем в туалет.

Суббота нащупал босыми ногами в полутьме тапочки-блины и пошел вслед за Кубинцем. Туалет располагался в конце коридора, никогда не закрывался и имел откидное окно для проверки со стороны. В откидном оконце в любой момент без предупреждений могли возникнуть любопытные глаза врачей, медсестер, санитаров. И не важно, что в этот момент пациент делает: на унитазах сидит или тянет *коньком-леской* через форточку криминальную посылку с воли. Ночью обычно там никого не было. Время сна.

Кроме трех впаянных в пол металлических унитазов был еще кран с водой и ржавый умывальник. Когда с неисправного крана падала капля на жестяной поддон раковины, раздавался гулкий металлический звон, раскатывающийся по отделению и действующий на нервы. Пациенты просили Сан Саныча организовать починку крана, но тот лишь отмахивался. А Елена Сергеевна, старшая медсестра, заявляла, что на профилактику водопровода у больницы нет денег. Иногда от «разрывной капли» кому-то из больных выносило мозги, и он начинал орать, как резанный. Для кого-то эта капля, падающая с периодичностью в одну минуту, становилась суровой казнью, приговором, наказанием. Однако это никого не волновало из медработников. Средневековая инквизиция. Глухота к чужой боли.

Кубинец извлек из штанины окурки и спичку без коробка, натянул ткань на вельветовой курточке, резко стегнул по материи серной головкой спички, она зажглась, и окурки смачно захрустели после первой затяжки хозяина. Кубинец довольно оскалился и с уважением протянул окурки Субботе. До больницы Алексей не курил. Здесь приучил себя к маленьким вредоносным радостям, которые на фоне замкнутого пространства несвободы и грубой химии казались островками свободы. Первая же затяжка ударила в голову, и Суббота опьянел. В клубах табачного дыма появился Шаман.

– Санитарка истратила всю святую воду на отделение, а в туалете попрыскала постеснялась, – улыбнулся он. – Глафира Сергеевна добрая, хоть и хочет казаться злой. Я не в обиде

на нее. Сама ж не ведает, что творит. А мне, видишь, прибавок. Могу спокойно приходить. В психиатрических туалетах всегда рождались самые дерзкие планы. Во все века. Все самое революционное рождалось в туалетах и тесных прокуренных кухнях. Она меня девятой нехоросью почему-то называет, – пожаловался вдруг Шаман и чуть не расплакался. – А я, писатель, и слова такого не знаю. Обидно же! Девятая нехорось. Ну, почему девятая? И почему нехорось? Значит, есть и десятая и двадцатая нехорось. Обидно. Может быть, это означает нехристь?

– Покурить хотите? – протянул ему окурочек Алексей.

Старик запротестовал.

– Хочу да не могу. Страсть как хочу. Вот беда-то! Все ногти изгрыз. Не могу. Ничего не могу, кроме ожидания. Вот и сюда захожу от скуки, – зевнул он. – Да и вас немного подбодрить.

– Нам нужна команда, – решительно проговорил Кубинец, не обращая внимания на Шамана. – Команда тех, кому можно доверять. Я тут не первый год, ты знаешь. Присмотрелся. Доверять можно Ваньке Курочкину, он не сдаст. Прошлой весной он пришел сюда сам в надежде, что поддержат немного и выпустят на волю, как раньше. Да не тут-то было. Хату его какой-то родственничек-опекун оттяпал, продал. Замыслову, думаю, взятку сунул. *Лепило* этот ничем не гнушается. А Художника уже год безвылазно держат. К нему с воли только приятель приходит. Сюда, к туалету. Подкидывает иногда деньги, сигареты, вино через форточку. И вся радость. Ванек хочет бежать, чтобы наказать родственничка. Он поэтому притворяется паинькой, чтобы доктора или медсестры не докопались, о чем он думает. Ванька хитрый, ты не думай. Он тут ни с кем, кроме растения Рослика не общается. Рослик лежачий, на глушняке. Архитектор в прошлом. Крыша поехала лет пять назад. Взял молоток и расколотил головы всем своим скульптурам и двинулся сам. Ничего не говорит, кроме одного: «Пятьдесят лет. Разбитые головы. Прилетит птичка небесная и тукнет меня в голову». Ну, ты, брат, понял? Этот не сдаст. Да и Ванька с ним ничем таким не делится. Нам нужна мысль. Смелая и нестандартная. Эту мысль должен родить ты, Суббота. Я подслушал ваш разговор с Шаманом. Нельзя доверять Длинному из первой палаты и его новому другу Вовке – толстому, которого сюда из армейки бросили на судебную экспертизу. Пустил в разнос из автомата кого-то из командиров, закосил под дурачка. Связался с Длинным, тот из него бабки качает через волю, обещает устроить побег, а сам обо всем Сан Санычу докладывает. Шестерня. С Курочкиным я тебя сведу.

– Слушай, Кубинец, а на кой ляд тебе самому бежать из больницы? – спросил недоверчиво Суббота. – Ты тут, поди, уже как в доме родном?

– Это мне-то... мне... – начал задыхаться он, – мне, зачем бежать? – Кубинец презрительно посмотрел на Субботу. – Ты не знаешь, кто я? Я Фидель. Меня до сих пор на Кубе боятся. Я служил там еще в советское время. Под радар попал. Комиссовали. А никто и не подумал, что я Фидель. Работал под прикрытием. Свобода мне нужна, чтобы мировую революцию замутить. Свергнуть этих мерзких капиталистов. Кровь пустить таким Зыковым, которые народ за быдло считают. Да я бы...я бы... голую девку из третьего отделения внес на троне в алтарь Сергиевского храма, как это сделали французские товарищи во время бунта. И водрузил бы ее в алтаре. А из храма психушку сделал бы для Замылова, Виллера и им подобным. Ну, теперь понял, зачем мне свобода?

Суббота передал ему окурочек. Кубинец докурил до самого фильтра, так, что уже губы и пальцы обжигало, и выбросил окурочек в унитаз.

– Ладно, – ответил Алексей. – К Ваньке я пригляжусь. А ты, Кубинец, поменьше труби на отделении о мировой революции. Кричи поменьше про ж...!

Кубинец обиженно нахмурился. Шаман не вмешивался в разговор, но было очевидно, что он не принимает идеи Фиделя всерьез.

– Десятая ты нехорось, – обронил Кубинец. – Чем больше я буду кричать на отделении свои лозунги, тем меньше ко мне будет подозрений. Усек? В больничке подозревают молчунов типа тебя. Перекрашивайся Суббота. Становись на время, как все. Иначе Замыслов, Виллер, Сопронов с тебя не слезут.

– С меня слезешь там, где попытаешься залезть, – строго ответил Суббота. – Заруби это на носу, деятель. Мне наплевать на твою мировую революцию с Эйфелевой башни, понял? Мне нужна другая свобода, о которой тебе не понять. Свобода метафизическая, духовная. Та, которую не смогут отнять. А все эти игры в революцию, равенство и братство засунь себе в ... одно место. Все самые кровавые злодеяния совершались под лозунгами «свобода, равенство, братство». Нет братства, Кубинец. И не будет, пока не появятся братья. А братья появятся, как заметил один очень большой писатель, если между людьми возникнет любовь с большой буквы. Где ж ты сегодня любовь увидишь? Разве что извращение в виде Василисы? Эрос... хм! В древней Греции бог чувственной любви. Запомни, Кубинец, – улыбнулся Суббота. – У Василисы сейчас больше свободы, чем у тебя, хоть ты и не *гомэо-ромэо*. Времена меняются. Свобода остается только внутри. Понял? Кто, по-твоему, свободнее: я или Васька? То-то! Васька погряз в своем дерьме и думает, что свободнее нас. А на деле, кто внутри себя свободнее, тот и на свободе. Усек? Ты все время орешь: «Жизнь дала трещину!». Ты прав, Фидель, она действительно дала у тебя трещину в районе ... только не задницы, конечно, а мозгов. Однако у других трещина может стать не дефектом, а лазейкой на волю. Уяснил? Трещинка не всегда дефект.

Кубинец не ожидал такой интеллектуальной отдачи, поэтому заискивающе улыбнулся и поклонился Алексею, как китайский болванчик. Он был доволен, что Суббота так *сильно* с ним поговорил. К тому же в присутствии Шамана. Поговорил, значит, принял всерьез. Запечатлел.

– Как скажешь, командир. Ты главный.

Со стороны коридора послышались шаги, и «заговорщики» поспешили покинуть тайную комнату. Шаман растворился в дыме так же неожиданно и незаметно, как появился из него. По пути им встретился пунцовый, как рябина, Василий, позади которого семенил *юноша бледный со взором потухшим*.

– Ну-ка спать! – скомандовал санитар. – Курить ходили? Не положено. Вот доложу Елене Сергеевне, она вас мигом в наблюдательную определит.

– В туалет мы ходили, товарищ начальник, по сугубо туалетному делу, – огрызнулся Кубинец.

– Спать! – снова скомандовал санитар. – А за тобой, Суббота, давно уже наблюдают. Ты какой-то тихий стал. Вынашиваешь бред какой-нибудь? Не будете меня слушать, донесу Елене Прекрасной.

– Извини, Василий Иванович, больше не повторится, – с притворным испугом проговорил Суббота. – Мы все должны уважать свободу. Свобода не должна заканчиваться там, где начинается свобода соседа. Не так ли? Ты свободен, Василий Иванович, и по доброте душевной предоставляешь свободу нам. В той степени, конечно, в какой можешь...

– Опять началось, философ, – скукожился Василий. – Как тебя только студенты терпели? Затянешь свою болтологию на час. Философ. Спиноза. Заноза ты, а не Спиноза. Ладно, пошли прочь! – пригрозил санитар. – Через пять минут приду в палату, проверю. Если продолжишь бузу, Кубинец, я лично вкачу тебе в твою треснутую задницу кубиков пять галоперидола.

– Все, все, Васенька, уходим, – наигранно заюлил Фидель. – В заадницу не надоть. У меня жизнь дала трещину. Хотя Философ говорит, что трещина у меня в мозгах.

– Кубинец, доиграешься, – погрозил санитар. – А Философ прав. Не в заднице она у тебя, а в мозгах. Была бы в заднице, ты бы здесь тридцать лет не торчал. Придурок. Даже не представляешь, как с тех пор все поменялось на воле. Свобода теперь другая.

– Свобода всегда прежняя, – улыбнувшись, пробормотал про себя Алексей. – Определения понятий меняются, а суть остается.

Суббота вернулся к себе в палату и лег спать, а через минуту услышал боевой клич *революционера*: «Жизнь дала трещину... До мировой революции остался один плевок. В блицкриг играют только немцы».

«Дурак, – подумал Суббота, погружаясь в теплый зеленый сон, в котором его ждала Вероника. – Дурак, но со смыслом».

Однако встретиться с любимой Философу так и не удалось. *Капля!* Она с таким грозным звоном треснула о поддон, что больные вскочили со своих коек, точно после воя сирены. Началось броуновское движение. Люди перепутали время. Их было не остановить. В три ночи у них началось утро. Пациенты бросились на Бульвар, призраки ничего не соображали и падали от смещения времени, и бегали взад-вперед, не зная, куда им деваться, а пациенты наступали на них, на себя, сталкивались лбами, начиналось вавилонское столпотворение.

Санитар Василий, испугавшись бунта, надавил на потайную кнопку и вызвал на помощь невозмутимого Петровича, санитаря приемного покоя. Вдвоем они кое-как утихомирили больных. Поняв, что еще ночь, успокоились и призраки. И в четыре утра снова наступила ночь, и все успокоилось – успокоилось до восьми, потому что в восемь все должны были проснуться, как по команде, и приготовиться к утреннему обходу, который обычно вместе с медсестрой проводил доктор высшей категории Замыслов Александр Александрович.

7

Утренний обход всегда сопровождался гулкими ударами церковного колокола. Лохматый Федька-звонарь, которого прихожане Сергиевского храма почитали блаженным и который выглядел внешне точь-в-точь как пациент первой клинической, ночевал и зимою, и летом на колокольне, и звонил к началу заутренних и торжественных служб. Божественная музыка, как водится, *зачиналась на небесах*, то есть, самой высокой точки города – колокольне, – и плавно опускалась вниз на грешную землю, пробираясь сквозь густую и суровую охрану водочного комбината Зыкова, где пропускали только по документам с гербовой печатью, ибо там производился стратегический для государства продукт – водка. Затем «прошедший таможенный контроль» звон тихо сходил на дно ада, чтобы разбудить кессонников святым гулом. Там колокольный звон растворялся в казенных ветхих строениях, оседая в подвалах Виллера, просачивался сквозь щели, всплывал в зарешеченных пространствах первого и второго этажа, и вновь поднимался вверх, собрав всю подземельную скверну, очистив пространство между небом и землей. Он прокатывался по котловану и зависал на уровне комбината. Все было как в жизни Российской, шутили дурачки, в небесах – ангельский звон, чуть ниже – пьяно-разгульные песни, а на самом дне...

Первым стонал Кубинец. Наевшись с ночи сухого чая, утром он уже бегал «на бодрячке», как угорелый, по отделению и вопил: «Архиерей со сволочью едет», – что означало утренний обход Замыслова.

– Архиерей *со сволочью* едет!

«Сволочь» с древне-церковного языка означало «свиту» – людей, *волочащихся* за особо важной персоной. Суббота на свою беду просветил Кубинца в некоторых особенностях лингвистики, и теперь получал достойный плод своего научного наставничества. Ничего крамольного Кубинец не произносил, но тот, кто не знал метаморфоз церковно-славянского языка, принимал вопль «вождя мировой революции», как издевательство над церковью. Впрочем, ему прощалось. Шизофрения. Остров свободы Куба. Попал под радар. Его даже Замыслов не принимал всерьез. Сан Саныча больше беспокоил Суббота. Много тайной информации стекалось к нему в виде записочек, шепотков, разговоров о том, что Суббота что-то замыслил. И это «что-то» могло быть бредом, который доктор обязан был вскрыть, как гнойную опухоль.

– Архиерей со сволочью едет! – заюлило-запрыгало по всему отделению. Докатился утренний колокол до второго этажа первого буйного.

Наконец, появился небожитель со свитой.

Внешне Сан Саныч и в самом деле походил на архиерея, только без облачения. Важности в его облике хватило бы, наверное, на целых двух владык. Грузный, чернявый, с густой бородой с проседью и масляным взглядом. Ступал по отделению, не торопясь, важной походкой, глядя на обитателей царства теней свысока. Небожитель. Олимпийский бог. Иногда приближался к кому-нибудь из больных, спрашивал что-то, выслушивал ответ, бормотал себе под нос что-нибудь по латыни, чтобы в глазах больных прибавить себе еще больше солидности, и двигался с процессией дальше. За ним с блокнотиком в руках семенила Елена Сергеевна. Иногда она делала какие-то пометки карандашом, шептала что-то «архипастырю», указывая глазами то на одного, то на другого пациента. Позади Елены Прекрасной шел молодой доктор-интерн Сопронов Игорь Павлович, – высокий, подтянутый, без традиционной в психиатрии бородки, всегда гладко выбритый, интеллигентный, живой, с прекрасным чувством юмора, – полная противоположность важно-сановному Замыслову.

Около палаты Субботы свита притормозила, Елена Сергеевна что-то шепнула доктору, Сан Саныч нахмурился и вошел в душное, но просторное помещение, в котором, помимо Субботы, находилось еще семь человек, включая художника Курочкина. В основном пациенты

были лежачие. Из-под одного из них, дистрофичного беззубого старичка, который все время смеялся, дурно пахло. Санитарка Глафира Сергеевна обычно умирала старика вафельным полотенцем, чтобы тот не ходил под себя. Однако меры «педагогического» воздействия были бессильны: старик уже наполовину влез в тот мир, откуда назад не возвращаются, да и не хотел возвращаться, *там* было лучше; и то, что он пытался донести до людей в белых халатах, выглядело лишь пустыми всплесками губ или беззвучным смехом. Обратная связь с миром живых была утеряна. Но зато он был красноречив *там*, где все было иначе: его окружали роскошные дамы в прозрачных одеяниях и пели ему веселые песни, от которых старик смеялся, словно дитя. Нет, не *словно дитя*, а он был там *ребенком*, ангелом. А тех, кто пытался его лечить, он просто не видел и не слышал – божье благословение.

– Надо бы в санобработку, – поморщил нос Замыслов, указывая на старика пальцем, увенчанным золотой печаткой. – Елена Сергеевна, – обратился он к стоящей рядом медсестре. – Передайте санитарке, чтобы она помыла пациента, как следует, и обработала его постель. Ну, нельзя ж так. У нас, понятно, не райские обитатели, но и до авгиевых конюшен доходить нельзя. Старика, может быть, уже недолго осталось. Проявите ж к нему хоть каплю милосердия. Пусть хоть перед смертью помытым будет. Думаю, протянет не больше недели.

Сан Саныч был доволен собой. Сан Саныч излучал милосердие и заботу. В древней Иудее были «праведники», которые исполняли весь предписанный Закон. Фарисеи. Они выходили на перекрестье дорог, звонили в колокольчики и раздавали милостыню бедным. А потом, довольные собой, шли в синагогу и преисполнялись горделивой радостью, что они не такие, как прочие люди. Таким был Замыслов.

Затем доктор подошел к койке Субботы. Алексей сидел с каменным выражением лица и ожидал от Замыслова какой-нибудь хитрости.

– Жалобы, просьбы есть? – поинтересовался доктор.

– Когда меня выпустят на волю?

– Как только вы поправитесь, так сразу и отпустим вас домой.

– Когда это будет?

– Это будет тогда, когда вы поправитесь.

– А когда я поправлюсь?

Замыслов хмыкнул, как бы указывая свите на частичную неадекватность пациента. Интерн Сопронов понимающе улыбнулся и, заметив на тумбочке больного книгу, взял ее и углубился в чтение. Елена Сергеевна сохраняла невозмутимый вид. Отыскав глазами санитару, она сделала знак Петровичу, чтобы тот всегда находился рядом во время утреннего обхода. Мало ли что могло произойти без охраны? От шизофреника можно ожидать всего. Может и в горло вцепиться зубами, если перевоплотиться во время приступа в хищного зверя. Может обернуться змеей и ужалить «смертельным» ядом в ногу. Санитар, как телохранитель, должен был предвидеть и предотвратить.

– Поправитесь вы тогда, когда перестанете проситься на свободу, – невозмутимо-елейным голосом ответил небожитель. – Когда поймете, наконец, что больны. Выразите тем самым критическое отношение к болезни, что является одним из симптомов выздоровления. Тогда мы начнем полноценно вас лечить. Но пока до меня доходят некоторые слухи. Понимаете? Не очень согласующиеся с позитивным началом лечения. Время, дорогой Алексей Иванович, необходимо время для того, чтобы обрисовать всю сложную картину вашего заболевания. У вас тонкая натура. Поэтому и симптоматика болезни весьма не простая. Вы должны критически взглянуть на свою болезнь. И ни в коем случае не выращивать бредовые идеи. Вы меня понимаете?

Суббота молчал. Доктор говорил на языке средневековой инквизиции. Алексей внутренне этого языка не принимал и всегда протестовал против фарисейского лукавого обращения.

В этот момент увлеченный чтением Сопронов неожиданно извинился, что вмешивается в беседу и попросил разрешения зачитать кусочек текста из книги вслух. Замыслов кивком головы позволил ему это сделать. Игорь Павлович с выражением продекламировал:

– *Да, измелъчали нынче люди, измелъчал и бес. Сериальным и пошлым стал тот, кто некогда побуждал людей на безумные поступки. Все сузилось в человеке до величины звонкой монеты.*

Он сделал паузу, посмотрел на своих коллег, затем на Субботу и с приятным удивлением в голосе продолжил:

– *Хорошую дорогу люди выстелили для злого гения. Когда он восстанет, они сами побегут за ним в ад, потому как не останется на земле ни одного своенравного, который не побоятся пойти против толпы. Да, толпа безлика и страшна. Сколько истинных талантов были затоптаны ее башимаками. Толпа боится и ненавидит гения, и делает все для того, чтобы обратить его в человека толпы. Как только гений смирится с этим, он становится одним из многих, но перестает быть самим собой. У своенравных один путь – отдать жизнь за право остаться индивидуальностью.*

Игорь Павлович остановился, перевел дух, широко улыбнулся и положил книгу на место.

– Однако, – сказал он, приподнимая в удивлении брови. – Замечательно! У *своенравных* один путь – отдать жизнь за право остаться индивидуальностью. Очень любопытная проза. Право, очень, – задумчиво прибавил он. – И предположить не мог, что в первом мужском отделении читают такую литературу. Интересно, кто автор? Шаманов? Впервые слышу. Но почитал бы с удовольствием. *Сколько истинных талантов были затоптаны башимаками толпы.* Мда... Недурственно. Ей богу, довольно редкая проза. Не знаете автора?

Возникла неловкая пауза. Сан Саныч вяло посмотрел на медсестру.

– Елена Сергеевна, почему пациент читает такую литературу? Здесь все от «а» до «я» пропитано бунтом. Неужели вам не ясно? Этот Шаманов, автор сего опуса, был диссидентом, хотел бежать в Америку. Лечился у нас в больнице в семидесятые годы. Побег чуть не учинил. С диагнозом «сутяжно-параноидальный синдром». Жаловался, видишь ли, по всему миру на наше государство. Жалобщик всемирного масштаба. Кто разрешил больному читать *большого*? Теперь я понимаю, откуда на отделении берутся крамольные мысли. Это же Шаманов. Шаман. В знак протеста хотел повеситься на батарее. У *своенравных*, говорит, один путь? Удавка на шею? Что за суицидальные намерения бродят по умам наших пациентов? Кто допустил? Что скажете, Елена Сергеевна, в свое оправдание?

Медсестра покраснела и отвернулась.

– Книги Шаманова есть в больничной библиотеке, – сухо ответила она. – Они разрешены для прочтения. Мне кажется, вы сами дали добро, – заметила Елена Прекрасная. Ее пышный бюст в волнении заколыхался. – Шаманова читают многие. Без вашей визы, Александр Александрович, ни одна книга не доходит до больных.

Замыслов нахмурился. Он умел держать в узде свои эмоции, как любой профессиональный психотерапевт. Он и виду не подал, что может быть виновным в таком неприятном казусе. Нужно было дипломатично брать бразды правления в свои руки.

– Ну, хорошо, это мое упущение. Необходимо изъять из больничной библиотеки все книги Шаманова, – сказал он. – И эту книгу забрать у пациента. У меня к Субботе отдельный разговор. После завтрака жду его у себя в кабинете. Кофейку попьем. Давно хотел побеседовать со столь *умным* пациентом. Ведь он у нас кандидат философских наук. Вы знаете? – обратился он к Игорю Павловичу. – Не сразу распознаешь, *кто* наш пациент. Кстати, он принимает таблетки? – обратился доктор к Елене Сергеевне.

– Да, да! – уверенно произнесла она. – Я сама лично контролирую прием. Не было ни одного нарушения.

С самого начала утреннего обхода за Сан Санычем наблюдали больные, совершавшие свой обычный утренний променад по Бульвару Грез. Один из них, тихий и робкий педагог Бодрейко, легко краснеющий от любой грубости и начинающий заикаться при разговоре, крутился около доктора. Когда Замыслов еще раз обратился с вопросом о просьбах или жалобах, Бодрейко, заикаясь, спросил:

– Нельзя ли нам... как-нибудь ...нам... это... это... вместо классической музыки... по телевизору что-нибудь др-дру-другэ... гэ..гое?

Проситель густо покраснел и, попятившись назад, скрылся среди пациентов. Вездесущий Кубинец решил поддержать просьбу и выразил ее со свойственной только ему решимостью «революционного бойца»:

– Почему нам не разрешают в пятницу смотреть ночной сеанс? – гневно сомкнул брови Кубинец. – Александр Александрович, это не справедливо. Там кино с обнаженными девицами показывают, а нам нельзя? Почему? Вы к нам на танцульки девчонок Генриха Яновича водите? А потом что? Ночью в отделение зайдите. Только покрывала колышутся, как на море во время шторма. Зачем нам танцульки? По телевизору девиц голыми показывают. И раздают каждому, как при коммунизме, бесплатно. Подайте мне голую девицу! Хочу внести ее в алтарь Сергиевского храма и водрузить на царский престол. Бу-ха-ха! Бу-ха-ха! Бу-ха-ха! Шаман сюда сам приходит. Жизнь у него дала трещину. Что книги? Книги – чепуха. Залечили Шамана до смерти. Разрешите нам ночной сеанс в пятницу, а? Распорядитесь, чтобы вместо чертовщины всякой классической нам ночную пятницу разрешили. Там на одном канале голых девок раздают. Бесплатно.

Постепенно вокруг Кубинца образовалась толпа. Сан Саныч нащупал в кармане электронную тревожную кнопку, но не стал нажимать на нее, а сделав глазами жест медсестре, попытался вразумить вопрошающих.

– Никаких девиц по телевизору не раздают. Это не правда. Вас ввели в заблуждение. Кроме того, на телеканалах существует цензура. Ночью телевидение не работает. Вам разрешается смотреть в выходные дни любые программы на телеканале «Культура». Любые! Подчеркиваю. Это разве нарушение ваших прав?

– Требуем ночного сеанса! – решительно заголосил Кубинец. – Да здравствует мировая революция!

На крики больного стали стекаться пациенты из других палат. Шли они как-то странно, неизвестно каким манером придерживая дистанцию, и у каждого была своя неповторимая, как диагнозы, ходьба. Собственно, это и ходьбой было назвать трудно. Кто-то шатался, как разбуженный медведь; кто-то пританцовывал; кто-то заваливался назад Пизанской башней, и, кажется, должен был вот-вот упасть, следуя законам физики, однако продвигался вперед чудесным образом; кто-то шел, семеня ногами, как рак по дну водоема. Выглядел этот парад теней человеческих фантастическим дефиле, демонстрирующим различные формы людского безумия. Смущенный Бодрейко плелся позади всех. Со стороны это выглядело устрашающе.

– Бунт! – закричал Кубинец. – Жизнь дала трещину...!

Санитары появились будто из воздуха, по волшебству, «двое из ларца – одинаковых с лица»: молодые студенты-медики на подработке. Натренированными движениями они скрутили Кубинца и потащили в наблюдательную палату.

– Архией со сволочью приехал! – хохотал Кубинец, отбиваясь от санитаров. – Архией сволочь приехала... Жизнь дала трещину... Ночной сеанс разрешите!

Вскоре Кубинец затих. Доктор неспешно обвел взглядом больных, которые еще минуту назад двигались по направлению к Замыслову. Теперь они ходили челноками взад-вперед по Бульвару Грез так, словно решительно ничего не произошло. Все было как всегда. Утренний обход заканчивался. Скоро завтрак. Дадут сладенького.

Толпа трусливо рассеялась по отделению. Замыслов еще раз заглянул в палату к Субботе. Было тихо. Художник Курочкин со спокойной, как у счастливого ребенка, улыбкой плел из разноцветных пластиковых трубочек для капельниц фигуры мифических богинь, был всецело поглощен творчеством. Бывший профессор искусствоведения Рослик спал, постанывая во сне, как дитя. У него было глубочайшее повреждение психики. Другие пациенты лежали на кроватях и вяло общались со своими призраками. Все ждали сладенького. Обещали мармелад, зефир и шоколадные конфеты на завтрак.

– Не забудьте, Елена Сергеевна, – сказал Замыслов, указывая пальцем в сторону Субботы. – Этого пациента в сопровождении санитаря я жду у себя в кабинете в девять часов ровно. Без опоздания. И чтобы ни одной книжки Шаманова в больнице не было. При жизни был бунтарем. Таким же остался и после смерти. Тонкая паутина бреда. Не зря, как видно, в иные времена на кострах инквизиции пылали не только люди, но книги. Не зря! У нас хоть и не инквизиция, но малейшее попущение свободы мысли может привести к роковым последствиям. Не будем забывать, в каком учреждении мы с вами работаем. Не будем забывать, что произошло с либеральной Троицкой и многими другими врачами. Будьте строже с ними. И обо всем тут же докладывайте мне.

Затем доктор обернулся, еще раз взгляделся в Курочкина, который среди всеобщего безумия воплощал собой само терпение и разум, и сказал миролюбивым тоном:

– Иван Мефодьевич, среди наших пациентов я доверяю только вашему благоразумию. Если больные в самом деле хотят поменять телевизионный репертуар, то попрошу вас написать на листке бумаги все желаемые предпочтения.

Курочкин поднял светлые сияющие глаза на Сан Саныча.

– В списке не должно быть боевиков, сцен насилия и эротики, – строго сказал доктор.

– А фильмы о любви? – наивно спросил художник.

– Только старые советские.

– А программы новостей?

– Только не сегодняшние. Там одна кровь.

– Но вчерашних новостей не бывает? – возразил Курочкин. – Вчерашняя новость уже не новость. По телевизору не показывают повторы программы «Время» за тысяча девятьсот семидесятый год.

– Вы, Иван Мефодьевич, человек с высшим художественным образованием – единственный, между прочим, на отделении. Подготовьте какую-нибудь культурную программу. Предложите что-нибудь такое, что устраивало бы наших бунтарей и выглядело прилично. Без лишнего возбуждения нервов.

– Боюсь, вы ставите передо мной невыполнимую задачу, – спокойно отозвался Курочкин.

– Ну, а вы постарайтесь. Напишите и передайте список мне через Елену Сергеевну.

Вечером Курочкин с серьезным выражением лица передал Елене Сергеевне записку, в которой значилось: «Зачем шизофреникам телевизор? У нас все фильмы в голове. Сериал на сериале. Предлагаю убрать телевизор из отделения, а вместо него поставить новогоднюю елку. Праздника хочется».

8

После завтрака, состоящего из манной каши, чая с зефиром и конфетами, Субботу проводили в кабинет заведующего отделением. Алексей успел незаметно для санитаря-конвоира сунуть в рот, разжевать и проглотить кусочек копченого сала, и был готов к вынужденной беседе с доктором. Сан Саныч сидел за столом в вальяжной позе. На подносе стояли две чашки с кофе, конфеты, шоколад. Папки с историями болезней небрежно лежали на подоконнике. Кабинетик был маленький, с зарешеченными окнами и двумя сейфами. Суббота знал о том, что под столом психиатра находилась тревожная кнопка, а на потолке гнезился скрытый глазок видеокамеры. От докторского кофе было не принято отказываться, поэтому Суббота смело взял протянутую Сан Санычем чашечку и сделал несколько маленьких глотков. От того, что он давно не принимал терапию, голова у него работала чрезвычайно ясно, мысли рождались одна за другой, пели, точно птички небесные, играли, славили весну, свободу. Суббота видел внутренним взором зарождение каждой мысли, наблюдал процесс их взросления, старение, гибель; все это пробегало перед ним с невероятной скоростью, но он успевал замечать не только, как выглядела каждая рожденная мысль, но и ощущал их цвет и запах. Алексей жил не в трехмерном пространстве обыденных предметов. Его мир был многомерен, эфирно легкий, радужно прекрасен. Улыбка подлинного счастья гуляла на его лице, пока он пил кофе и слушал елейную монотонную, серую и безвкусную, как пустая молитва, речь доктора Замыслова. И пока Сан Саныч говорил, на глазах у пациента врач превращался в священника, пастора, иезуитского монаха со сложенными кульком пухлыми ручками, перебираемыми четками и глазами, обращенными к небу. Куда-то пропал белый халат, костюм, рубашка и галстук. Вместо них появилась мышиного цвета сутана, опоясанная веревкой вместо пояса. Все-таки не архиепископ, не священник, средневековый монах тайного Ордена времен Великой Инквизиции. Вид у монаха был суров. Однако Суббота то и дело прятал улыбку в кулак, так как не мог удержать веселья от забавных пантомим, которые за спиной Сан Саныча исполняла красавица Вероника, проникшая сквозь решетки и окна золотым дождем, и потешный Шаман с петлей на шее, который в кабинет Замыслова заходил, как к себе домой: разве трусливая санитарка могла опрыскать святой водой кабинет *самого*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.